

Яков (Янек) Фридман, г. Ришон Лецион, дом престарелых «До 120»  
Запись 14/02/1996, г. Рамат Хашарон, Израиль  
Видеоинтервью Мира Голан.  
Перевод на русский Саша Галицкий, сентябрь 2010.

Я родился во Львове в январе 1926 года.

Львов тогда был «столицей Западной Галиции» и когда-то, еще до Первой мировой, принадлежал Австро-Венгрии.

В 1926 году Львов относился к Польше. Мой папа владел табачным магазином на ул. Крашицкий. Там же и жила наша семья. Мы жили в польском районе. Евреи тогда жили в разных районах Львова, хотя, конечно, существовал и еврейский квартал. Рядом с нашим домом был областной суд, напротив находилось местное министерство внутренних дел. Район был деловым и это очень помогало отцовскому бизнесу — деловые люди были его клиенты.

Можно сказать, что у меня было счастливое детство. Я был самый маленький в семье.



*1933 год. Семилетний Яков с мамой*

Про нашу семью можно было сказать (смеётся) «мои дети, твои и общие».

Мой отец был вдовец, у него было 2 сына. Мама тоже была вдова, и у неё была дочь. А потом у них родилось ещё четверо детей, мальчиков.

Так что семья наша была большой.

Дома мне было очень интересно. Папа мой был хасид. Конец недели, субботу, мы проводили за столом, собиралась вся семья. Приход субботы это был всегда праздник, повторяющийся каждую неделю. Мы одевали лучшие одежды и шли в синагогу с отцом. Соседи-поляки как-то сказали маме, что Фридман с двумя маленькими сыновьями, когда идёт в синагогу в пятницу вечером, похож на бога с двумя ангелами.

После возвращения из синагоги все собирались за столом, стояли начищенные серебряные канделябры, горели свечи, сверкала белоснежная скатерть.

Особенно зимой мы сидели вокруг стола очень долго. Старший брат читал вслух рассказы Шолом-Алейхема (в газете каждую неделю печатали отрывок из «Тевье-молочника»), братья приглашали своих друзей и они пели.

Мама готовила субботний ужин.

Летом братья старались поскорее убежать к друзьям. В субботу утром я просыпался под отцовские молитвы.

Наш дом казался мне дворцом, нерушимой крепостью, уклады которой невозможно порушить. Казалось, что это продлится вечно — родители, братья и наш дом.

Я учился в школе «Сohen». Учёба велась на польском языке, хотя школа была еврейской. Мы изучали также еврейские традиции. Летом ездил в летние лагеря. В то время во Львове проживало более 100,000 евреев и велась активная культурная жизнь — в городе был еврейский театр, печатали еврейские газеты.

Хотел ли я уехать тогда в Палестину? Не знаю, я был ещё слишком мал тогда, чтобы думать про это.

Но я помню как вставал очень рано утром, чтобы успеть заглянуть с утра в еврейскую газету «Хвила» и прочитать новости из Эрец Исраэль. Это происходило в 1936-1939 годы. Родители мои не собирались уезжать в Палестину по религиозным соображениям — папа ждал явления Мессии.

Однако в 1939 году наша жизнь стала меняться.

После коротких боёв в город вошла Красная Армия. Пришли русские. Про них мы не знали ничего. Про немцев мы знали, что они враги Израиля и всех евреев, и что если они придут в город, нам будет очень тяжело. Поэтому, когда пришла Красная Армия, всё еврейство города вздохнуло свободнее.

Тем более, что первые провозглашенные советские законы уравнивали евреев в гражданских правах и ликвидировали всяческие притеснения по национальному признаку. Мы, дети, всему очень радовались и были очень рады приходу русских, хотя мой отец не всегда с этим соглашался. Иногда мы спорили с ним. Старшие братья смогли пойти учиться. Дело в том, что при поляках учёба стоила больших денег, а отцовский бизнес с каждым годом шёл всё хуже и хуже.

При Советах студенты не только учились бесплатно, но даже получали стипендию — зарплату, как все рабочие люди!

Конечно, происходили и другие события.

И поляки и евреи страдали от депортации в Сибирь. Те немногие, которым удалось убежать от нацистов из Польши во Львов — также были высланы. На самом деле это спасло им жизни, то тогда об этом не знали и депортация воспринималась как большая

трагедия. Мы, дети, ходили в школу, пели советские песни и были счастливы. Родительское гнездо постепенно начало пустеть — два моих старших брата уехали учиться один в Россию, другой на Украину, в Харьков.

22 июня 1941 года началась война между Германией и Советским Союзом.

Уже через неделю немцы вошли в город и для нас весь мир перевернулся.

Я помню этот день.

В еврейском квартале начался погром, нацисты дали погромщикам три дня. Громили евреев в основном украинцы, ведь немцы пообещали им «Свободную Украину».

Но на нашей улице в польском квартале всё пока было спокойно и мы ни о чём не знали.

Скорее всего, конечно, родители знали, но не рассказывали нам, детям.

Немцы ничего не делали сразу. Изменения приходили постепенно:

— евреев обязали ходить по улицам с белой повязкой на правой руке, на ней должна была быть звезда Давида;

— евреям запретили ездить на городских трамваях;

— евреям запрещено было жить в польских районах, они должны были перейти в еврейский квартал;

— евреи должны были сдать мебель, меха и драгоценности;

— евреи Львова должны были заплатить «контрибуцию» — 20 млн. рублей. У кого не было денег приносили золото, серебро, чтобы набрать нужную сумму;

— евреев стали забирать в рабочие лагеря;

среди поляков немцы объявили, что евреи — это нелюди, «недочеловеки»,

распространители зла и болезней. С ними было запрещено торговать и вообще общаться.

В 1942 году во Львове начались так называемые «акции».

Сначала забрали стариков.

Потом забрали тех, у кого не было «правильных» документов. Их забирали и увозили.

Куда? Никто не знал. Через польские газеты немцы сообщали, что евреи едут на полевые работы на Украину. Но постепенно пошли слухи, что этих людей убивают. Почему?

Конечно, никаких точных сведений не было, но по обращению немцев к этим несчастным

во время «акций» становилось понятно. Это увидел и понял, когда 20 июня 1942 года

забрали моего папу. Тогда брали только пожилых. Взяли только его, хотя и мы с мамой

были дома. Его взяли силой, он прятался. Моим родителям в ту пору было где-то между

45 и 50 годами. В день, когда забрали отца, моя мать стала полностью седой, за один

этот день.

Через несколько месяцев была ещё одна акция, которая длилась две недели.

Мама разбудила меня в шесть утра и сказала, что мне надо постараться убежать, потому что улица кишит эсэсовцами.

— Я спрячусь в доме, — сказала она.

Мне действительно удалось убежать. Я не был похож на еврея, у дома был ещё один

выход, который вёл в польскую часть города. Выход охранял эсэсовец. Я сказал ему, что

я украинец и живу тут неподалёку, и он разрешил мне выйти. Больше свою мать я не

видел. Её выдала консьержка. Мама спряталась в подвале дома, но консьержка выдала

её гестаповцам, потому что она хотела получить наши детские вещи.

У консьержки была большая семья и много детей нашего возраста.

Я остался один.

Мне было 16 лет.

Один мой брат жил во Львове и скрывался по подложным документам под польской фамилией Тшихович. Сестра уехала в Варшаву тоже под польской фамилией Антонина Шнайт. Ещё один брат был эвакуирован ещё русскими, а мой старший брат где-то работал на германскую армию, и его мы вообще не видели. Я не знал, что делать.

Когда я решил вернуться в нашу квартиру за вещами, та самая консьержка выдала меня гестаповцам. Мы жили на втором этаже. Она сказала мужу вызвать гестапо и сказать, что поймали еврея без повязки, а сама побежала за мной на второй этаж.

Гестаповец привёл меня на место сбора всех задержанных в этой акции евреев, ведь она ещё не закончилась. Я помню только выстрелы, крики, там был просто конец света. Я вернулся к гестаповцу, который привёл меня и сказал ему по-немецки: «Я ещё очень молод и я хочу жить».

Меня заперли в каком-то здании со всеми, а ночью была селекция.

Ночью нас построили в шеренгу и увели женщин и ослабленных людей.

Потом начальник опросил каждого оставшегося и выяснил его возраст и специальность. Я сказал, что мне 18 лет и по специальности я «файнмеханике» (токарь точной механики). Я толком не знал, что это, но слышал, что немцы ищут таких.

Так я попал в лагерь Яновска. Хочу рассказать подробнее об этом лагере. Он назывался «бандитским университетом», и находился в окрестностях Львова.

Там нашли свою смерть большинство евреев из наших мест. Условия труда в этом лагере были нечеловеческие. Еду почти совсем не давали, не говоря уже о тяжелейшем физическом труде. Больше одного-двух месяцев прожить там было нельзя.

Утром мы получали кусок хлеба и воду, иногда в ней плавала гнилая картофелина.

Вечером тоже давали кусок хлеба, кажется, но я уже не помню точно. Короче, был постоянный голод. Мы были одеты в гражданскую одежду, но на брюках и пиджаках были нарисованы масляной краской красные полосы. Люди мёрли, как мухи.

Я не понимал, почему вообще там люди работали, ведь они были обречены на верную гибель.

Я был слишком молод тогда, но мой здравый смысл подсказывал мне, что надо искать любую возможность для побега. К нему я стал готовиться с первого моего дня в этом лагере. Наша бригада работала грузчиками на железнодорожной станции, надзиратели были поляки, они избивали заключённых за малейшую оплошность — ведь мы были «недочеловеки».

Вечерами в лагере проходили расстрелы провинившихся. Наша жизнь не стоила жизни обычной комнатной мухи.

Спали мы на голых нарах, однако и там не было места для всех. Однажды я повздорил с группой молодых людей за место на нарах. Я сказал им: «Господа! Вы выжили из ума! Вы потеряли человеческий облик!»

Они ответили мне, что законы тут волчьи, что выживает сильнейший, и что тут нет места на сострадание и на участие. «Бегите! Зачем вы работаете на немцев?» — сказал я.

В ответ они сказали мне, что бежать им некуда, ведь всё равно поляки выдадут обратно.

Но я (как уже сказал) с первого дня стал готовить свой побег.

Раз в неделю нас водили в баню в городскую тюрьму. Там в куче одежды я нашёл штаны и рубашку без красных полос. Рубаха была льняная, какие носят крестьяне. Я подумал, что моя бритая голова как раз подойдёт, и я смогу выдать себя за крестьянина, ведь они иногда брили голову, боясь вшей.

Сверху этой одежды я надел своё полосатое пальто, так что немцы ничего не заметили. В день, когда я решился на побег, я не пошёл на завтрак. Все стояли дыша друг другу в затылок, чтобы наполнить свою пустую консервную банку (другой посуды не было) водой с гнилой картошкой, а я пошёл по рельсам вдоль бетонной стены, пока не нашёл в ней пролом. Я просунул в него голову и понял, что смогу вылезти наружу. Я пролез через этот пролом и побежал.

Думаю, что в эти минуты я побил все мировые рекорды по бегу. Позади я слышал крики, за мной побежали вдогонку, но я не останавливался и бежал, бежал, не оглядываясь.

В городе первым делом я пошёл на бабушкину квартиру, в польском квартале.

Бабушки там уже не было, её забрали в первую же акцию. Но зато там я застал свою сестру, которая пряталась на квартире.

Я переоделся, поел и вышел в город.

После того, что я увидел в лагере Яновски, у меня уже не было иллюзий по поводу судьбы моих родителей и бабушки. Мне было тяжело одному в городе, без дома и семьи. Чтобы как-то прокормиться, я продавал сигареты на трамвайной остановке. Поляк Юзек давал мне пачки, а я их продавал в центре города. Ночевал я в польском квартале, в разных местах, где придётся. Слишком много поляков знали мою семью и меня и могли сдать в гестапо. Однажды меня поймал один поляк с нашей улицы и уже повёл меня сдавать немцам. Но я напомнил ему, как моя мать помогала ему в тяжёлые для него годы (он был очень беден), и он отпустил меня восвояси. И я понял, что надо уходить из города.

Однажды я навестил евреев в гетто, туда ещё можно было зайти.

Немцы, я уже говорил, ничего не делали сразу, всё постепенно.

Шаг за шагом.

Они внушали оставшимся в живых евреям, что если они будут вести себя хорошо, «работать на общество» — то останутся в живых. Так воспитывали пока оставшихся.

В гетто я познакомился с одним молодым человеком. Родителей у него уже не было, но, как видно, они сумели оставить ему немного денег и он устроился в гетто.

Он говорил мне, что боится оставлять гетто и надеется на судьбу, ведь здесь он как-то устроен.

Среди документов у него было свидетельство о рождении украинца, на имя Элиаса Шостака, 18-ти лет, проживающего в деревне, и это свидетельство он мне просто отдал.

С этим свидетельством на имя украинца Элиаса Шостака я уехал добровольцем на работы в Германию.

Была такая организация во Львове, которая отправляла добровольцев. Евреи мне говорили, что это опасно, ведь надо было проходить медкомиссию, и немцы-врачи могли увидеть, что я обрезанный еврей.

Но у меня не было другого выхода. На моё счастье в ту ночь, когда меня привели на медкомиссию, немцы пригнали около 2000 крестьян из соседних деревень — поляков и украинцев, которых угоняли силой. Медкомиссия была скорой, врачам некогда было заниматься каждым, и когда они посмотрели на мои документы и увидели, что я доброволец, они даже не посмотрели в мою сторону.

Так я попал в Германию, в город на границе с Голландией.

Там меня и ещё 10 украинцев отобрали на работы на железнодорожной станции.

Я хорошо знал немецкий язык, ведь я учил его ещё в гимназии.

Украинский я выучил за два года, пока учился в советской школе с 1939 по 1941 год.

Но сначала знание немецкого я скрывал. Работали мы стрелочниками на станции, обслуживали 7 км. железнодорожного пути, к работе я постепенно привык. Правда зимой работать стало тяжело, я был молод. Немцы заметили это и перевели меня на работу помощником повара. Я обслуживал 20 польских рабочих и 10 украинских, еды было достаточно, и отношение к нам было нормальное.

Одевались мы в одежду уничтоженных евреев.

Однажды вечером мне сказали, что на кухне меня ждёт какой-то человек, немец. Когда я пришёл к нему на беседу, он спросил меня: «Как дела, Яков Фридман?»

— Я не Фридман, это какая-то ошибка, — отвечал я.

Но он сообщил мне, что он работает в гестапо, и им известно, что я — Яков Фридман, — еврей, выдающий себя за украинца.

— Одевайся и пойдём со мной, — сказал он.

Мы должны были ехать на трамвае до его заведения. По дороге он сказал мне, что гестаповцы поймали моего брата, Самуэля, тоже скрывающегося по подложным документам в Дрездене, и что им всё про меня известно. Тут же, в трамвае, я придумал историю про своего бывшего знакомого, Юзефа Ромайского, который, как видно хочет «насолить» мне и поэтому говорит, что я, якобы, еврей.

— Знаешь, — сказал немец, — иди сейчас домой, а завтра приходи ко мне в кабинет, в гестапо.

Мои документы были отправлены в Берлин, в Четвертое управление.

Четвёртое управление занималось евреями.

А пока я ожидал решения суда, меня сделали переводчиком. Мне опять повезло благодаря тому, что я владел пятью языками (русским, украинским, чешским, польским и немецким). Условия у меня там были хорошие, моя одиночная камера запиралась надзирателем только на ночь. Целый день я работал на разных работах, даже ухаживал за кроликами, которых разводил начальник тюрьмы.

Но через три месяца пришёл приказ из Берлина отправить меня в Майданек.

В мае 1943 года меня привезли в тюрьму г. Люблина, в пригороде которого находился концлагерь.

В тюрьме я услышал доносившиеся пулемётные очереди. Это были последние дни подавления эсэсовцами восстания Варшавского гетто.

В Майданеке был отправлен на четвертое поле. Это был лагерь уничтожения. Утром мы шли «на работу». Мы брали большие камни и на руках несли их в лагерь. А потом несли

их обратно. По дороге были убийства, жестокость, какую только человек может себе представить.

Один из немцев — заключённый, бандит, просто топил евреев в бочке с водой. Он засовывал голову несчастного в бочку и ждал, пока перестанут выходить пузыри. Лагерем руководили заключённые-немцы. Все различались по нашивкам. Зелёный треугольник — уголовник; красный — политический; красный треугольник с буквой «Р» в середине — поляки; евреи же носили звезду Давида. Начальники блоков — капо, относились к заключённым ужасно. В основном начальниками были евреи из Словакии (они были одними из первых заключённых Майданека) или извозчики из Варшавы. Блоками служили бывшие конюшни. На некоторых даже оставались таблички с именами лошадей, которых держали там раньше. А сейчас на трёхэтажных нарах там жили люди. На моё счастье я попал в Майданек уже после Сталинграда.

Была проведена очередная селекция и всех, кто ещё был в силах, послали в Аушвиц, на работы. Это был июнь 1943-го. Уже в эшелоне мы поняли, что нас везут на работы, а не убивать. Каждый заключённый получил по краюхе хлеба, колбасу. В вагонах была постелена солома и стояло ведро для испражнений.

Для нас, людей Майданека, Аушвиц показался раем. Утром каждому выдавали по 400 гр. хлеба, супа, варенье, колбасы. Нам поставили на предплечье левой руки номер (мой 128022) и через пару дней я попал в Буна-Верке, где находился концерн по производству жидкого топлива из угля.

1000 барачков, 12000 заключённых.

Русские, английские и французские военнопленные, а также евреи, поляки и немцы. Мы работали до 4-5 часов вечера. У каждого была кровать, и нас кормили 3 раза в день. Можно было жить.

В лагере Буна я находился до января 1945 года. Я успел переболеть цингой, успел немного поработать в санчасти; там же, в лагере, я неожиданно встретил своего брата Самуэля, выходящего из одного из барачков. Я подошёл к нему сзади, закрыл ему глаза и спросил «Кто я?!»

Самуэля после той истории с гестаповцем и письмами выслали из Дрездена прямо в Аушвиц.

Между тем Красная Армия приблизилась к Кракову, и немцы поняли, что надо удирать. 18-го января 45-го года пешком по снегу нас погнали в Гляйвиц. Это около 50-ти километров от Буна. Шли всю ночь. Падающих охранники стреляли на месте. Утром мы с братом съели вдвоём 2 кило хлеба и килограмм ветчины, которую он раздобыл где-то перед отправкой.

Наверное, это нас и спасло, потому что в следующие две недели есть нам больше не пришлось.

В Гляйвице нас запихнули в вагоны.

Без еды и питья потащили через всю Германию. Один раз, я помню, на какой-то станции в вагон бросили несколько буханок хлеба. На каждой станции мы выбрасывали из вагона трупы.

Как я это выдержал? Переживал ли я?

Нет. Думать можно было только про то, как выдержать ещё час, ещё следующий день. Думать о мироздании было нельзя. С моим братом мы не обсуждали никаких тем, даже подробности его истории в Дрездене я узнал только потом, после войны.

Мы знали, что войне приходит конец. Сталинград переломал хребет фашистам. Тот, кто выдержит — выживет.

Мы это поняли.

Последний раз я рыдал в Майданеке, в первый день, когда надзиратели палками забили одного молодого еврея, спрятавшегося где-то в другой зоне. Последний раз. Больше — нет.

За две недели поездки нас выгружали во многих лагерях, но все они были переполнены. В конце концов мы попали в Заксенхаузен .

Там мы расстались с братом. Заключённых отправляли в разные лагеря, и он сказал, что нам будет лучше порознь. Только после войны он объяснил мне причину такого решения. Он считал, что мы погибаем, и легче каждому из нас будет умереть отдельно.

Так он считал.

Меня послали в лагерь, обслуживающий самолёты, «Хенкель-Верке». А уже в лагере послали работать на кухню. Так продолжалось до тех пор, пока кто-то не пожаловался начальнику лагеря, что на кухне работает еврей, на лёгкой работе.

И тогда меня перевели разгружать вагоны с углём.

Это был апрель 1945-го.

Через день-два наш начальник предупредил, чтобы при бомбёжке мы не смели прятаться в огромных печах завода. Только в поле. И буквально через 15 минут прозвучала сирена воздушной тревоги.

Около 500 американских самолётов (я считал) бомбили заводы около часа.

Это был ад.

Из 400 заключённых осталось в живых 100 или 200. Надзиратели-немцы все были убиты. Сначала я прятался в деревянном бункере, потом перебежал в огромную воронку от американской бомбы, по сторонам которой были разбросаны куски человеческих тел. Потом побежал в рощу. Я остался в живых. Только маленький осколочек изуродовал мне мизинец на правой руке.

После бомбёжки самолёты разбросали листовки. В них было написано, что до встречи американского и русского фронта осталось всего 100 км.

Свобода близка.

Оставшиеся в живых после бомбёжки заключённые стали собираться. Все бросились в разные стороны, я побежал с группой поляков.

Нас было шестеро — 4 поляка, один фольксдойче из Швеции и я, еврей. Мы добежали до леса и уже должны были пересечь шоссе, как вдруг услышали шум моторов, свистки и лай собак. Это были эсэсовцы, искавшие четырёх сбежавших русских военнопленных. Они схватили нас и отвезли в главный лагерь — Заксенхаузен.

На нас смотрели как пришедших с того света после этой бомбардировки.

Через 2-3 дня всех оставшихся послали разбирать завалы и хоронить трупы в разбомблённый американцами лагерь.

От него не осталось камня на камне. Он весь был разбит американской бомбардировкой. Горы, горы трупов. Мы сложили их в пирамиды и сожгли. Кстати кухня, откуда меня выгнали была полностью разрушена.

На кухню упала бетонная стена и похоронила под собой всех, без исключения. Вот так иди знай где лучше. Итак, нас по-прежнему держали в лагере, «немецкого порядка» уже не было, на работы мы не ходили.

Было ясно, что это последние дни.

20 апреля нацисты вывели всех из лагеря Заксенхаузен, каждый получил по буханке хлеба и пешком погнали нас из Берлина в сторону Балтийского моря по тому коридору, который оставался ещё в руках немцев.

21 апреля 1945 года, в соответствии с отданным приказом, начался марш смерти.

Предполагалось свыше 30 тыс. узников колоннами по 500 человек перебросить на берег Балтийского моря, погрузить на баржи, вывезти в открытое море и их затопить.

Отстающих и обессиленных на марше людей расстреливали. Так, в лесу у Белова в Мекленбурге было расстреляно несколько сот узников. Однако, задуманное массовое уничтожение узников осуществить не удалось — в первых числах мая 1945 года советские войска освободили колонны на марше.

30 апреля нас догнали шведские машины Красного креста и раздали заключённым посылки с едой, по договорённости с Гиммлером.

Многие тут же умерли от внезапного переедания.

Молодёжь выжила.

2-го мая, во время остановки на отдых в каком-то лесу, днём, охраняющие нашу колонну немцы исчезли.

Яков (Янек) Фридман (род. Львов, январь 1926 г.), прямая речь:

— В 1943 году, в 17 лет я оказался в Аушвице. Я встретил там много очень плохих и очень хороших людей, и мне сильно повезло. К примеру, лагерный доктор-поляк Ковач направил меня на рентген в соседний лагерь с воспалением зуба, хотя ежедневно работали печи и в них горели здоровые люди.

Последний раз я рыдал в Майданеке в день, когда надзиратели палками забили молодого еврея, спрятавшегося где-то в другой зоне. Последний раз. Больше — никогда.

В лагере меня послали работать на кухню, пока кто-то не пожаловался начальнику лагеря, что на кухне работает еврей. И меня перевели разгружать вагоны с углём.

Это был уже в апреле 1945-го. Через день-два 500 американских самолётов около часа бомбили заводы.

Я их считал. Это был ад. Из 400 заключённых осталось в живых 100 или 200. Все надзиратели-немцы были убиты.

Сначала я спрятался в деревянном бункере, потом перебежал в огромную воронку от американской бомбы, по сторонам которой были разбросаны куски человеческих тел.

Потом побежал в рощу.

Я остался в живых. Только маленький осколочек изуродовал мне на всю жизнь мизинец на правой руке.

Кстати на кухню, откуда меня выгнали, упала бетонная стена и похоронила под собой всех, без исключения.

Вот так и иди знай, где лучше.

В 1948 году, еще до провозглашения Независимости, на корабле, я пришёл в Палестину. Англичане были к нам не слишком приветливы, и настроение испортил порошок ДДТ против вшей.

Они нас засыпали им с ног до головы. Вскоре я получил новое промасленное чешское ружьё и оказался в ударном отряде «Пальмах».

Да, я участвовал в боях. Но, по правде сказать, я не был бывалым солдатом. Мне всегда казалось, что я участвую в странном спектакле, при этом не очень понимая своей роли. Мы никогда не рассказывали, что нам довелось пережить в Европе. Да никто нас об этом и не спрашивал.

Местные «сабры», родившиеся свободными в Палестине, относились к нам, европейцам, с опаской и с пренебрежением.

Хотя во многом, например что касается культуры и образования, я был сильнее их. Я больше знал.

После боёв меня направили в северный Тель-Авив изучать бухгалтерское дело. Хотя по характеру я совсем не бизнесмен. Мне ближе философия, астрономия и рисование.

И вот, когда все одноклассники после получения специальности бухгалтера пошли искать хорошие работы, я подался выращивать плантацию бананов и занимался этим 8 лет.

А потом 30 лет работал в одной из больничных касс заведующим складом.

Вот и всё.

Думаю, что самое главное в моём характере то, что я всегда сам решал, как мне жить.

У человека всегда есть возможность выбора. И когда в 14-15 лет в лагере Яновски я встретил людей, гораздо умнее и опытнее меня, ожидающих милости нацистов, я понял для себя самое главное. Пассивность и апатия не спасут. Чтобы спастись — надо рисковать.

Я думаю, что этот побег из лагеря в 1942 году — самое главное, что я совершил в жизни.

Тогда я понял, что люблю свободу и никому не позволю решать за меня, как мне жить.

Ведь для того, чтобы спастись, мне пришлось по подложным документам на имя украинца Элиаса Шостака уехать «добровольцем» на работы в Германию.

Это там меня поймали во второй раз и снова отправили в лагерь.

Я и сейчас много читаю, рисую и слушаю музыку. Хотя в последнее время очень плохо слышу.

Моя старшая дочь — доктор биологии, а сын — хозяин хайтековской фирмы.

Он берёт меня каждую пятницу в Тель-Авив, мы приходим в кафе в Дизенгоф-центре, рядом с книжным магазином, и пьём кофе. Потом покупаем по 2-3 книжки.

Человеческая жизнь сама по себе лишена смысла — смыслом наполняет ее сам человек.